

КАПУСТА, ЯБЛОКО И ТРЯПКА

— Смотрите, как она жуёт!

Шура замирает, перестаёт двигать челюстями. Во рту у Шуры тёплая недожёванная тушёная капуста. Вкусная. То есть уже не очень.

— Стесняется, ути-пути! Ну пожуй, пожуй ещё. Девки, ловите момент, такой приколот.

— Хватит, Мормыш, задолбала, — лениво говорит Лысиха, накалывая на вилку серую сосиску. — Дай девочке покушинькать.

— Кюшай, девотька, сюси-пуси! — пищит Мормыш.

Шура сглатывает. Тёплый капустный комок ощущается в пищеводе, отказывается опускаться вниз.

— Сейчас подавится из-за вас. — Бабий встряхивает своими солнечными волосами, лениво улыбается.

Шура отпивает из стакана тёплого безвкусного чая. Комок внутри растворяется.

Мормыш роется в сумке. Лысиха шепчется с Исхаковой.

Мне из-за вас не есть совсем, что ли?

Шура отправляет в рот очередную порцию капусты. Побольше, чтобы тарелка быстрее опустела.

— Ха! — выстреливает Мормыш. — Ха! Ха! Вот оно!
В руках у неё телефон, а в телефоне — злобный глаз каме-
ры, и смотрит этот глаз на жующую Шуру.

— И правда уродски жуёт, — удивляется Лысиха. — Мо-
жет, у неё челюсть сгнила?

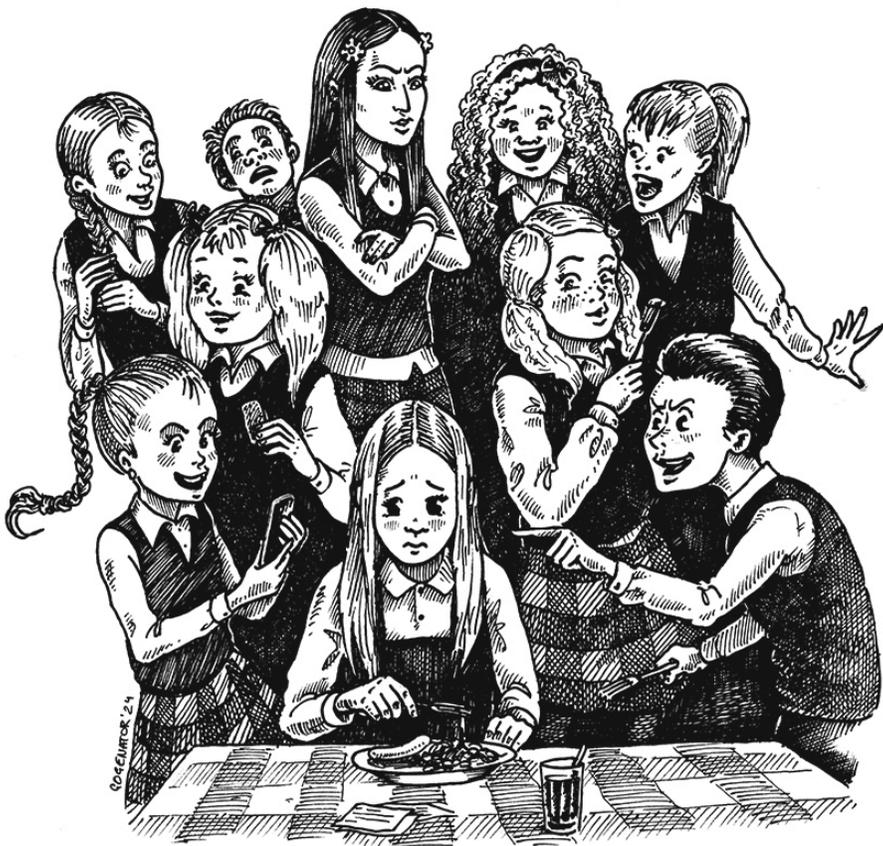
— Да всё у неё сгнило! — ржёт Бабуся.

— Очень смешно. — Иванова дёргает полным плечом.
Смотрит на Шуру, смотрит — и вдруг начинает хихикать.

— Оборжаться! — захлёбывается писком Мормыш. —
Выложу... все оборжуются!

— Выржуются и уржуются, — кивает Лысиха.

— Перержуются и недоржуются, — резюмирует Иванова.



Мормыш, Оля Мышкина. Очень маленькая и очень милая. В начале сентября Шура была у неё в гостях. Уроки закончились, и Шуре в тот день не надо было в эстрадную студию, и она, пиная оранжево-розовые кленовые листья, медленно шла по школьному двору, и её нагнала запыхавшаяся Мормыш, и спросила: «А ты куда, Шур? Ты петь, да? А можно я с тобой?» И, выяснив, что Шура идёт не петь, а домой, пригласила в гости — вот так вдруг. И они пошли вместе, а потом побежали, и бежать с Олей было ужасно весело, хотя Шуре скоро стало тяжело дышать, и она с трудом успевала за Олей, которая на бегу ухитрялась ещё и разговаривать. «А вот в этом подъезде живёт Курушина! — звенела Оля. — А вот там новый дом — там Сёмин и Костичкин! А Лысике хорошо, она вообще рядом со школой!»

А дома у Оли на них прикрикнула Олина старшая сестра, а Оля ей не ответила вообще ничего, и это было настолько восхитительно дерзко, что Шура замерла от восторга. Попробовала бы она, Шура, вот так со своей сестрой! «Глухая, что ли?» — заорала Олина сестра. «Сама глухотня!» — лихо парировала Оля. И они с Шурой закрылись на ключ в комнате Олиных родителей, которые всё равно были на работе, и накрасили помадой Олиной мамы губы и щёки, отчего стали похожи на телеведущих (так сказала Оля), и включили компьютер Олиного папы («А он мне разрешает!»), и стали по очереди петь караоке.

— Ты хорошо поёшь, — говорила Оля. — Очень хорошо. Это тебя в твоей студии научили? А меня научи, а? Пожалуйста-пожалуйста-препожалуйста!

Учить Олю оказалось непросто. Точнее, совсем невозможно. «Я по-ю, — выводила Шура по нисходящей, как учила Нона Петросовна во время распевок. — Повторяй за мной, это просто: я по-ю». Оля делала трагическое лицо, разевала накрашенный ротик, словно аквариумная красавица-рыбка, и очень старалась выводить то же

самое, но звуки у неё выходили то детски-писклявые, то мультяшно-басовитые, то вообще какие-то хрипучие. «Ве-ет ветер, — пела Шура. — Ве-ет ве-те-рок». — «Ве! Ет! Ветер!» — отчаянно, безнадежно редела маленькая Оля, сморщив кукольный беленький лобик. Тогда Шура решила попробовать свою самую любимую, самую дивную распежку. «Сейчас точно получится, — пообещала она. — Пой со мной: bella rosa, rosa, rosa!» — «Бэлля? — вытаращив голубые глазки, переспросила Оля. — Бэлля роза? Бэлля?» И вдруг начала хохотать, и повалилась на диван, и дрыгала ногами. «Бэлля! — вопила она в потолок. — Ой, оборжаться!» И Шура хохотала вместе с ней, хотя было ей совсем не смешно, а досадно было, и немного противно, и ещё скучно.

— Оборжаться, — счастливо всхлипывает Мормыш, пряча телефон.

— Ссылку потом пришли, — командует Исакова. Такой уж у неё голос — она, что ни скажет, всегда как будто командует.

— Шестой класс, — по-взрослому вздыхает Бабий. — А как дети. Тебе зачем? Перед сном смотреть?

— Перепошу, — объясняет Исакова. — У меня много подписчиков.

— Ой, наша звезда, сюси-пуси! — верещит Мормыш. — Ой, наша фотомодель, у неё подписчики! — И тут же, без паузы, другим тоном: — Пришлю, конечно.

— Надо ж так челюстями работать, — задирает Лысиха свои еле заметные брови под рваную чёлку. — Жвачное.

— А ты жуй-жуй! — регочет Бабуся. — Песня такая раньше была. Старинная. А ты жуй-жуй!

— И мне тоже ссылку, — поднимает глаза от телефона Верникова.

Ссылку. На запись, как я жую. А как я жую? Да нормально. Все, если всмотреться и вдуматься, жуют немного смеш-

но. Но эти ржут именно надо мной. А вскоре ржать будут не только они, но и подписчики красотки Исаковой, и друзья Верниковой, и вообще.

— И мне ссылку, — безмятежно улыбается Иванова.

Анжела Иванова, большая кудрявая отличница. Весь первый класс она сидела у Шуры за спиной, и Шура при каждом удобном случае оборачивалась к ней, чтобы похихикать. С Анжелой можно было меняться карандашами, конфетами и весёлыми призовыми ластиками из супермаркетов. Как-то поздней весной — это был уже второй класс — они после школы вместе пускали по лужам плитки из листьев подорожника, а потом придумали сажать



на них божьих коровок. Коровки неспешно разгуливали по зелёным плотикам, раскладывали напололам коробочные лакированные спинки, высвобождая мятые, нежные, полупрозрачные крылышки, но почему-то не улетали. «Они думают, что по морю плавают», — сказала Анжела. И Шура вспомнила старую бабушкину песню — «Славное море, священный Байкал», и они вместе пели её, и Анжела называла коровок омулёвыми бочками. «Эй ты, омулёвая бочка, — говорила она ласково, подпихивая коровку прутиком к земле. — Слезай давай, приехала уже».

Шура, глядя в пустоту прямо перед собой, молча перемалывает во рту мягкую капусту. В такт жеванию Шура проговаривает про себя несложную самодельную мантру — по слогам. Один жевок — один слог.

ОТ
ВА
ЛИ
ТЕ
ОТ
МЕ
НЯ

И — пустой слог, пауза. Всего получается восемь слогов. Восемь четвертных нот. Два такта по четыре четверти.

Шура знает, что если мантру повторять раз за разом, то она сработает.

И мантра срабатывает, как всегда. Они от неё отстают. Верникова снова утыкается в телефон. Мелкая Мормыш закидывает в себя капусту (и жуёт, и над ней не ржут). Бабий поправляет солнечные волосы, что-то говорит Ивановой, та мудро кивает. И всё как будто нормально. Все как будто нормальные.

Шура втыкает вилку в сосиску, откусывает сморщившийся сосисочный краешек.

— Вкусная писька? Грачёва ест письку! Грачёва, эй ты! Вкусная писька?

Это от другого стола, где мальчишки, подскакивает Сёмин.

— Очень смешно, — говорит тяжёлая Иванова.

— Сёмин, а тебя что-нибудь выше пояса интересует? — учительским голосом спрашивает Бабий. По её волосам неспешно перекатываются рыжие солнечные зайчики.

Мормыш давится капустой, хихикает, выплёвывает непрожёванное на тарелку (и никто над ней не ржёт).

— Шкафура — каннибал, — выхихикивает она. — У кого оторвала, Шкафура?

— Лучше нам не знать, — качает головой Лысиха.

— Это тоже нужно заснять, — командует Исхакова.

В ушах у Шуры начинает звенеть. Она отчаянно откусывает от сосиски ещё кусок. Всплеск звона. Она кладёт сосиску на тарелку, вынимает из неё вилку, вилкой отламывает от сосиски кусок. Ещё один всплеск. Она кладёт вилку рядом с тарелкой. Снова звенит, взрывается в голове, плещется вокруг макушки оглушительный хохот.

Сёмин, Егор Сёмин. Они с Костичкиным Васей появились в их классе в начале этого учебного года — поселились в новостройке и перевелись из других школ. И один был, в общем-то, Костичкин и Костичкин, ничего особенного, а другой — такой, что... ух. Он был немножко похож на героя фильма, который любила пересматривать Шурина сестра: типа вампир, но хороший. И ещё был похож на Шурино темноволосого куклёнка, в которого Шура, конечно, уже не играла, но хранила в потайной коробочке в письменном столе и иногда доставала — просто так. И ещё был похож на анимешного персонажа с глазищами. В общем, Шура так на него и вытаращилась. А он посмотрел в ответ и улыбнулся. И потом они иногда переглядывались



на уроках, и он удивительно хорошо улыбался. А то, что он, Сёмин, время от времени кидался на уроках жёваными бумажками, выкрикивал тупые шутки и мычал у доски какую-то ерундень — он же всё-таки мальчишка, им положено. А то засмеют, как Масолкина. Подобное только Чердаку с Сенковским прощается, на то они и Чердак с Сенковским.

Потом, когда всё началось, Сёмин, видимо, решил, что Шура — не та, с кем в этом классе имеет смысл обмениваться улыбками. И стал улыбаться Исхаковой. Но был ещё

один раз, зимой, под Новый год, когда Шура шла по голубеющему сумеречному снегу в свою студию. Её несильно ударило в спину, и она обернулась. И увидела Сёмина с Костичкиным. И Костичкин, слепив из своего круглого лица зверскую морду, сосредоточенно похлопывал vareжкой свеженький тёмно-белый снежок, а Сёмин — тот смотрел прямо на Шуру и улыбался так, что Шуре захотелось сощуриться, словно от солнечного света.

— Отвернись, Грачёва, а то в лицо попадём! — крикнул Сёмин. И замахнулся.

И Шура молча отвернулась, и пошла вперёд, как будто ничего не происходило, и мимо неё пролетел снежок. «Это он бросил», — подумала Шура. И ещё тут же подумала: «Это он нарочно промазал». И ещё: «Он сказал — “Грачёва”, а не как обычно». Грачёвой её в школе не называли вот уже два месяца.

Шура шла по синей тропинке и улыбалась.

Шура старается не смотреть на остаток сосиски. Пытается заново начать мантру про «отвалите», но не выходит. На мантру нужны силы. А у Шуры они, кажется, все вышли. Вытекли через глаза, через уши, через поры. Шура обессиленная, Шура пустая. Шуры нет.

По-хорошему надо встать, оставив сосиску на тарелке (всё равно доесть уже не получится), и отправиться в класс. Пройти по школьному коридору без вот этого вот привычного уже вонючего шлейфа в виде милых одноклассников и их внимания. Но Шуре никак не встаётся. Под низкое ржание Бабуси, под гаденький щебет Мормыш, под снисходительные замечания Бабий и Ивановой Шура сидит за столом, и молчит, и смотрит, смотрит в воздушную точку, пока точка не начинает плавать и подмигивать.

В Шурино плечо стучает тяжёлым и мокрым. Огрызок яблока. Шура вздрагивает, оглядывается. Из-за мальчишеского стола на неё весело и нагло таращится Абдулычев.

— Подними и покушай, — тоненько тянет Мормыш. — Раз угощают.

На рукаве у Шуры расцветает мокрая клякса. Шура бессмысленно трёт её пальцами. Клякса становится бледнее, но больше.

— Ты что, на огрызок нарочно плевал, Абдулычев? — кричит Лысиха.

— Ага, — скалится Абдулычев.

Девчачий стол вразнобой тянет многоголосое «фу-у-у».

— Кто до Шкафуры дотронется, в того Абдулычев плюнул! — вопит Мормыш, перекрывая фуканье. — Шкафура — параша!

В класс Шура идёт, заключённая в невидимый пузырь. У пузыря прозрачные, но вполне отчётливые границы. Никто не смеет эти границы нарушить. Кому охота запачкаться.

Кирилл Абдулычев, Кир. Белокожий, белобрысый, писклявый. Весь третий класс Шура сидела с ним за одной партой. И в общем-то, если честно, он был так себе сосед — то толкался под столом ногами, то выпрашивал откусить яблоко и откусывал чуть ли не половину, то, изогнувшись немыслимым кренделем, совал нос в её, Шуруну, тетрадь. Но всё это можно было ему простить за уроки пения.

В третьем классе были ещё уроки пения, а не вот эта непонятная душная музыка — «Открываем тетради, записываем годы жизни композитора». На уроки пения нужно было ходить в актовзй зал и там рассаживаться кто где хочет. Но Кир почему-то садился рядом с Шурой. И каждый раз они на ходу придумывали смешные вариации надоевших до оскомины песен, и пели своё, и переглядывались, и смеялись, когда ТатьянаПетровна отворачивалась. Пел Абдулычев звонко и чистенько, голоса у них с Шурой красиво сливались. «Снова мак расцветает на клёне!» — выводили они в унисон вместо «Снова май расцветает зелёный».

«Унитаз водяной, дверь вонючая!» — это в песне про Зиму, которая солила снежки в избушке. И ещё: «Сапоги, сапоги, едут, едут по Берлину наши сапоги!»

Как же было здорово. Как здорово.

В классе холодно — только что проветрили. Шура садится за свою четвёртую парту, которая не у окна, а у стенки. Рядом плюхается лохматая Курушина, достаёт тетрадь с учебником, пенал, грохает всё это на столешницу. И учебник, и тетрадь, и пенал, и даже ручки с карандашами у Курушиной какие-то лохматые. И края рукавов у неё лохматые. И из косы торчат волоски, и ещё такие крендельки из волосков. Девчонки говорят, Курушина заплетает косу раз в неделю. И это похоже на правду, потому что в понедельник Курушина приходит в класс почти как нормальная, из косы ничего не торчит. Но сегодня четверг, и коса у Курушиной — как старая мочалка.

Курушина молча берёт одну из своих лохматых ручек и обновляет полосу посередине парты. Она нарисовала эту полосу после Дня учителя, когда Шуру, с которой все отказались сидеть, пересадили к ней от Исхаковой. С Курушиной тоже никто не хотел сидеть, и она была одна за партой. Шуре Курушина не обрадовалась. Весь их первый соседский урок — биологию — она, сдвинув брови к переносице, рисовала ручкой полосу, разделяющую четвёртую парту пополам. Рисовала, закрашивала, подравнивала. А на перемене сказала, тыча в черту шершавеньким пальцем, глядя на эту черту, а не на Шуру: «Чтобы сидела на своей половине, поняла. Сиди на своей половине, ко мне не лезь. Поняла, да».

Шура сказала ей, что и так не собиралась никуда лезть. Курушина не ответила.

Курушина Настя. В прошлом году, в пятом классе, ставили «Золушку», и Шура была доброй феей, а Курушину назначили

королевой. И все тогда смеялись: королева у нас будет из помойки! Тем более что королём был Масолкин. Масолкин очень не хотел быть королём, но его заставили. На репетициях он всё время как будто собирался сам себе засунуть голову в подмышку. Курушина сидела рядом с ним, мрачная и нахохлившаяся, как зимний воробей. А на само представление пришла такая, что все ахнули, и даже Исхакова сказала изумлённо: «Ну ты, Курушина, вообще!» — и даже Масолкин уставился на Курушину так, будто с неба сошла луна и рядом с ним села. На Курушиной было длинное тёмно-красное платье со шнуровкой на поясе и низким узким вырезом, и все, конечно, заметили, что у мешковатой Курушиной есть на самом деле талия, а кожа на шее и груди нежная, как мороженое. Волосы у неё были гладко причёсаны и уложены в такую сетку, прозрачную, а наверху к волосам заколками-невидимками крепилась маленькая корона из золотой фольги. И все стали спрашивать Курушину, кто её так причесал, а она, засмущавшись, ответила: тётя. И это было понятно, что тётя, а не мама, потому что мама у Курушиной, это все знали, никогда не бывает трезвой, а папы у Курушиной вообще никакого нет. И Шуре так захотелось сделать Курушиной приятное, и она подошла к ней в своём волшебном-звёздном платье и сказала: «Настя, ты сегодня настоящая королева, такая красивая». И Настя ей гордо, по-королевски улыбнулась.

Шура достаёт учебник со вложенной в него тетрадь, кладёт на свою половину парты, подальше от курушинской черты. Сейчас будет русский, но учительницы пока нет.

— Кому с доски вытирать? — орёт Мормыш.

— Ну дежурная-то я, положим, — это Исхакова.

— Ну и поторопилась бы, — советует ей Лысиха. — Звонок вот-вот уже.

Исхакова, хищно улыбаясь, направляется своим танцующим шагом к доске. Берёт тряпку, мочит в раковине под кра-

ном, комкает, выжимая, — и вдруг, развернувшись чёрной пантерой, швыряет этот мокрый серый комок прямо на четвёртую парту, которая не у окна, а у стенки. Прямо в Шуру, прямо в Шурина грудь. Тряпка вяло отскакивает, шмякается на парту. Тряпка пахнет подвалом, червяками, смертью.

— А сейчас одна тряпка возьмёт другую и вытрет с доски, — командует Исакова.

— Я не пойду, — бурчит Курушина.

— Кто тебя просит-то, Курушина? — удивляется Исакова. — Сиди себе, посиживай. А тряпка пусть поторопится.

Шура смотрит, как по её груди расплывается серое тряпочное пятно. Сговорились они сегодня, что ли, кидаться? Шура вдыхает тряпочный запах.

— Шкафуре помочь, что ли, я не поняла? — гудит Бабуся.

— Её ж трогать нельзя, она — параша, — напоминает Абдулычев. — Я зачморил, а Мормыш объявила.

— Мормыш! — командует Исакова.

— Чур-чур не считается, всё отменяется! — орёт Мормыш.

— Давай, Бабусь, — разрешает Исакова.

«Меняздесьнет, меняздесьнет, меняздесьнет!» — быстро-быстро проговаривает про себя Шура, вцепившись в край парты. Но поздно, надо было раньше. Так просто теперь не исчезнуть.

Её выволакивают из-за парты, тащат к доске. За одно плечо тащит Бабуся, за другое — Исакова. Шура молча упирается.

— Шевелись, ты, Шкаф, — басит Бабуся.

Кто-то пинает Шуру ниже спины. Шура оглядывается.

Это Верникова. Тощая Верникова с кошачьими глазами, большими коленками, обкусанными ногтями.

— Шкаф с ножками, — радостно шипит Верникова. — Шкаф ходит-ходит.

Шуру волокут к доске. Верникова хихикает.

Карина Верникова, соседка. Шура — из третьего подъезда, Карина — из второго. Родились с разницей в один день.

Этим летом каждое утро ходили друг к дружке в гости: один день — к Карине, другой — к Шуру. Играли в принцесс, раскрашивались аквагримом. Рубились в видеоигры, рисовали комиксы про Соника и покемонов. Бегали и прятались от Каринино брата, Максика. А давно, когда обе были совсем маленькие, мама Карины разрешала им немножко повозить коляску с Максимом, таким крошечным, что коляска была ему как большая кровать. Карина, которая терпеливо учила Шуру отбивать мяч по-волейбольному, когда их на физре поставили в пару; под конец у Шуры получалось почти хорошо. Карина, которая в это воскресенье должна прийти к Шуру в гости вместе с родителями и Максимом.

— Тряпку! — командует Исакова.

— Хватит, может? — равнодушно спрашивает Бабий.

Мормыш в три прыжка подскакивает к шурино-курушинской парте, подхватывает с неё тряпку, швыряет в Шуру. Тряпка повисает дохлой серой птицей на Шурином лице. Шура трясёт головой, тряпка падает.

— А ну подняла, — беззлобно рычит Бабуся.

Шура пытается вырваться.

— Так, а это что ещё за безобразия?

Анита Владимировна в дверном проёме — как памятник самой себе.

Исакова с Бабусей одновременно отпускают Шуру.

— Мы просто хотели, чтобы она умылась, — невинным, совсем не командным голоском объясняет Исакова. — А то Настя с ней сидеть боится.

Анита Владимировна сверкает очками на Курушину, потом на Шуру.

— Методы у вас, конечно, странные, — чеканит она. — Но ты, Грачёва, ты почему ходишь по школе в таком виде? Ты же всё-таки девочка. Давай-ка умойся.

И тут звенит звонок.



— Быстрее, — говорит Анита Владимировна. — И по местам все, по местам. У нас новая тема. Кто дежурный, почему доска грязная?

Исхакова молча поднимает тряпку, возит по доске. Шура идёт к раковине, кладёт руку на её край. Из надраковинного зеркала на неё смотрит мокрое тряпочное лицо. Под лицом, на кофточке, большое тряпочное пятно. На рукаве — пятно маленькое, яблочно-слюнявое.

Анита Владимировна говорит про наречие — неизменяемую часть речи, которая.

А они все сидят и пишут в тетрадках, как будто никто никуда Шуру не тащил, не швырялся в Шуру тряпкой. Как будто Шуры нет.

Пишет Эля Исхакова, красивая троечница с резким хищным профилем, которой Шура когда-то исправляла в домашке ошибки. Пишет Лысиха, Алиса Лысих, главная

спортсменка класса, однажды заступившаяся на физре за Шуру — мол, ну и что, что медленно бегают, не всем же бегать быстро. Пишет Бабуся — Катя Савина, грубоватая, но на самом деле добрая, Шура точно знает, что добрая. Пишет солнечная Бабий — честная Яна Бабий, неделю назад заявившая Шуре, что вообще-то за неё и будет с ней разговаривать, но только когда никто не видит. «Ты не говори никому, пожалуйста, меня не поймут».

Пишет язвительный Олег Сенковский, олимпиадник, одиночка, дружащий с Масолкиным, потому что больше не с кем. Пишет рядом с ним Масолкин Матвей, длинный, большерукий, бестолковый, тихий. Пишет вспльчивый Артем Егоров, единственный, кто пытался Шуру защищать, когда всё началось. Пишет маленький Миша Чердак — тогда, перед «Золушкой», он помог Шуре донести на четвёртый этаж пакет с костюмом доброй феи.

И пишет он, Ненашев, бывший друг, а теперь никто. Хуже, чем никто.

Почему по отдельности все они, в общем-то, нормальные, а собравшись вместе, превращаются в злобное, многогоротое, многоликое, многорукое и многоногое зубатое чудовище? В коллективную жестокую гадину. В живое пыточное устройство.

Шура плещет в лицо холодной водой. Шура держится двумя руками за край раковины.

Шура закрывает глаза и уходит отсюда.

Шуры нет.

ПЕЧАЛЬНАЯ ВЕДЬМА

Всё началось после того Дня учителя.

На самом деле нет. Всё началось после тех репетиций. После той песни, в которую Шура влюбилась. Учебный год только начался, а вместе с ним — занятия в эстрадной студии «Вагант», в центре детского творчества. Шура бегала туда со второго класса.

Вообще-то тогда, во втором классе, студия «Вагант» ещё была Шуре не по возрасту, и, когда бабушка привела Шуру записываться, тётка, по-царски восседающая в холле за письменным столом, только трясла на Шуру с бабушкой выцветшим старомодным начёсом, нависающим над сухим морщинистым лбом, и однообразно скрипела: «С десяти лет. Рано. Приходите через два года». Но тут в холле возник вихрь, а в вихре появилась она — пылающая, острая, быстрая, тонкая и чудесная, погромыхающая обильными деревянными бусами, звенящая серьгами, и заявила на весь холл, что вот эту девочку она бы послушала, и царская тётка, ворча и бурча, ей подчинилась. Пылающую звали Нона Петросовна. Она повела Шуру и бабушку по коридорам и наверх. Ну как повела — просто пошла впереди, чеканя шаг, как диковинный гвардеец, который зачем-то надел юбку и каблуки, а Шура и бабушка за ней побежали. Нона Петросовна будто и не торопилась, но получалось так стремительно, что за ней приходилось бежать. Она привела их в какой-то кабинетик, где было пианино, и повелела Шуре петь, и слушала от каждой песни всего по куплету. Потом Шура повторяла за Ноной Петросовной смешные маленькие недопесни и даже отдельные звуки, отстукивала какие-то ритмы, и, отвернувшись, угадывала, что за клавиши та нажимает на пианино, и всё угадала. И тогда Нона Петросовна сказала, что Шура может приходить к ней в «Вагант» на занятия уже завтра, но

СОДЕРЖАНИЕ

КАПУСТА, ЯБЛОКО И ТРЯПКА	3
ПЕЧАЛЬНАЯ ВЕДЬМА	19
ШКАФ	37
ЗАШКАФЬЕ	53
МОРЕ	77
НАЗАД И ВВЕРХ	95